

БИБЛИОТЕЧКА
ЖУРНАЛА
Советский воин

№ 11 (126)

1949 г.

Константин СИМОНОВ



Друзья и враги

Стихи

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР
1949

*Поэт Константин Симонов в 1949 году
за книгу стихов «Друзья и враги»
удостоен Сталинской премии
первой степени*

Рисунки худ. В. Брискина и В. Фомичева

Редактор В. В. Панов



Константин СИМОНОВ. „Друзья и враги“, стихи.



МИТИНГ В КАНАДЕ

Я вышел на трибуну, в зал,
Мне зал напоминал войну,
А тишина — ту тишину,
Что обрывает первый залп.
Мы были предупреждены
О том, что первых три ряда
Нас освистать пришли сюда
В знак объявления нам войны.
Я вышел и увидел их,
Их в трех рядах, их в двух шагах,

Их — злобных, сытых, молодых,
В плащах, со жвачками в зубах,
В карман — рука, зубов оскал,
Подошвы — на ногу нога...
Так вот оно, лицо врага!
А сзади только черный зал,
И я не вижу лиц друзей,
Хотя они, наверно, есть,
Хотя они, наверно, здесь.
Но их ряды — там, где темней,
Наверно там, наверно так,
Но пусть хоть их глаза горят,
Чтоб я их видел, как маяк!
За третьим рядом полный мрак,
В лицо мне курит первый ряд.
Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Ее начало — как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
— Россия, Сталин, Сталинград! —
Три первые ряда молчат.
Но где-то сзади легкий шум,
И, прежде чем пришло на ум,
Через молчащие ряды,
Вдруг, как обвал, как вал воды,
Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «ура»!
Уж за полночь, и далеко,
А митинг все еще идет,

И зал встает, и зал поет,
И в зале дышится легко.
А первых три ряда молчат,
Молчат, чтоб не было беды,
Молчат, набравши в рот воды,
Молчат четвертый час подряд!

.

Но я конца не рассказал,
А он простой: теперь, когда
Войной грозят нам, иногда
Я вспоминаю этот зал.
Зал!

А не первых три ряда.



КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

Мне в этот день была обещана
Поездка в черные кварталы,
Прыжок сквозь город, через трещину,
Что никогда не зарастала,
Прикрыта, но не зарубцована,
Ни повестями сердобольными,
Ни честной кровью Джона Броуна,
Ни Бичер-Стоу, ни Линкольнами.
Мы жили в той большой гостинице
(И это важно для рассказа),
Куда не каждый сразу кинется
И каждого не примут сразу,

Где ежедневно на рекламе,
От типографской краски влажной,
Отмечен номерами каждый,
Кто осчастливлен номерами;
Конечно — только знаменитый,
А знаменитых тут — засилие:
Два короля из недобитых,
Три президента из Бразилии,
Пять из подшефных стран помельче
И уж, конечно, мистер Черчилль.

И в этот самый дом-святилище,
Что нас в себя, скривясь, пустил еще,
Чтобы в Гарлем везти меня,
За мною среди бела дня
Должна
 заехать
 негритянка.

Я предложил: не будет лучше ли
Спуститься — ей и нам короче.
Но мой бывалый переводчик
Отрезал — что ни в коем случае,
Что это может вызвать вздорную,
А впрочем — здесь вполне обычную
Мысль, что считаю неприличным я,
Чтоб в номер мой входила черная.
— Но я ж советский! — Что ж, тем более,

И все же с нами цветом схожа
Среди всех них

была одна она.

Мы шли втроем навстречу глаз свинцу,
Шли, взявшись под руки, через

расстрел их,

Шли трое красных через сотни белых,
Шли, как пощечина по их лицу.

Я шкурой знал, когда сквозь строй
прошел там,

Знал кожей сжатых кулаков своих:

Мир неделим на черных, смуглых,
желтых,

А лишь на красных — нас,

и белых — их.

На белых — тех, что, если приглядеться,

Их вид на всех материках знаком,

На белых — тех, как мы их помним
с детства,

В том самом смысле. Больше ни
в каком.

На белых, тех, что в Африке ль,
в Европе,

Их красные — в пороховом дыму,

Как мы — своих, — прорвут на Перекопе

И сбросят в море, с берега, в Крым!



ТИГР

Я вдруг сегодня вспомнил
Сан-Франциско,
Банкет на двадцать первом этаже
И сунутую в руки мне записку:
Чтоб я с соседом был настороже.
Сосед — владелец здешних трех газет —
Был тигр, залезший телом в полосатый
Костюм из грубой шерсти рыжеватой,
Но то и дело из него на свет
Вдруг вылезавший вычищенной пастой
Тигриною улыбкою зубастой
И толстой лапой в золотой шерсти,

Подпиленной на всех когтях пяти.
Наш разговор с ним, очень длинный,
трезвый,
Со стороны, наверно, был похож
На запечатанную пачку лезвий,
Где до поры завернут каждый нож.

В том, как весь вечер выдержал он
стойко
Со мной на этих вежливых ножах,
Была не столько трезвость, сколько
стойка

Перед прыжком в газетных камышах;
Недаром он приполз на мягких лапах
На красный цвет и незнакомый запах!

И сколькими б кошачьими кругами
Беседа всех углов ни обошла,
Мы молча встали с ним из-за стола
Тем, кем и сели за него,—врагами.

.

И все-таки я вспомнил через год
Ничем не любопытный этот вечер,—
Не потому ли, что до нашей встречи
Я видел лишь последний поворот
Тигриных судеб на людских судах,
Где, полиняв и проиграв все игры,

Шли за решетку пойманные тигры,
Раздавливая ампулы в зубах?
А он был новый, наглый, молодой.
Наверно и они такими были,
Когда рейхстаг зажгли своей рукой
И в Лейпциге Димитрова судили.

Горит, горит в Америке рейхстаг,
И мой сосед в нем факельщик

с другими,

И чем пожар сильней, тем на устах
Всё чаще, чаще слышно его имя.
Когда, не пощадив ни одного,
Народов суд их позовет к ответу,
Я там, узнав его при встрече этой,
Скажу: я помню молодость его!



ТРИ ТОЧКИ

Письмо в Нью-Йорк, товарищу...

Мой безымянный друг, ну как вы там?
Как дышится под статуей Свободы?
Кто там за вами ходит по пятам,
Вас сторожит у выходов и входов?

В какой еще вы список внесены
По вздорным обвинениям в изменах,
Сержант пехоты, ветеран войны
С крестом за храбрость в битве при
Арденнах?

Где вы живете? В том же уголке
Нью-Йорка, на своем 105-м стрите?
Или, ища работы, налегке
Из Балтимора в Питсбург колесите?

Кто в стекла там вклепляет бледный нос,
Когда звоните вы из автоматов?
Кто вслед за вами звездный шлет донос
Под звезды всех Соединенных штатов?

А может, вас уж спрятала тюрьма,
Но, и одна оставшись, мать не плачет —
Ни жалобы, ни просьбы, ни письма;
Мать коммуниста — что-нибудь да значит.

Как я желал бы знать, что в этом так
И что не так! Что с вами вот сегодня?
Пришлите мне хоть, что вы живы, знак,
Что вы свободны, если вы свободны.

Ну, голубя нельзя за океан,
Так выдумайте что-нибудь, пришлите
Какой-нибудь журнал или роман
И слово: «free»¹ в нем ногтем
подчеркните!

¹ По-английски — свободен.

Простого факта, что у вас есть друг
В Москве, достаточно врагам
в Нью-Йорке,
Чтоб вас травить, ругая на все корки,
Всю залежь клеветы сбывая с рук.

Мы — коммунисты. В этом тайны нет.
Они — фашисты. В этом тайны нет.
Без всяких тайн, что мы воюем с ними,
Они же объявили на весь свет.
Пусть тайной будет только ваше имя.

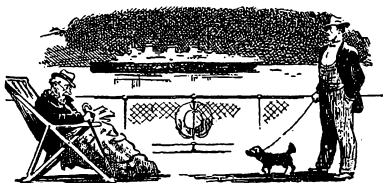
Как им его хотелось бы узнать!
В моем письме увидеть бы воочью..
Но я пока стихи пошлю в печать,
Им назло имя скрыв под многоточьем.

Я знаю, как вы любите Нью-Йорк
С его Гудзоном, авеню, мостами,
Таким, как есть, но главный ваш
восторг
Ему — тому, каким еще он станет.

Каким он хочет, может, должен быть —
Дверь в будущее, а не сейфов двери.

К нему б вам только руки приложить!
А вы еще приложите! Я верю.

Тогда я вам на новый адрес ваш
Пошлю письмо и в нем, взяв карандаш,
На ваше имя громкое исправлю
Три точки, что пока я молча ставлю.



ДИКАРИ

Нет одиночества сильней,
Чем плыть Атлантикой семь дней,
Под грохот в тысячу стволов
Долбящих вкривь и вкось валов,
Под скрипку в баре за стеной,
Под говор хриплый и чужой.

Как по тюремному двору,
По кругу палуб, на ветру,
Сцепивши руки за спиной,
Дохаживаю день седьмой.

А старый пароход скрипит —
По трюм Европою набит.

Не той Европой — что в маки ¹,
Не той Европой, что в штыки
Встречала немцев на полях,
Не той, что там костями легла,
А той, что при чужих дверях
Семь лет в Нью-Йорке прождала,
Готовая кивки ловить,
С шарманкой по дворам ходить,
Ботинки чистить, быть слугой,
Рабой, собакою цепной.

Еще идет сорок шестой,
Еще я лишь плыву домой,
Еще, ничем не знаменит,
Ни Маршалл план не оглашал,
Ни в Риме нанятый бандит,
В согласи с планом, не стрелял,
Шахт еще заперт на замок,
Еще социалист Жюль Мок
В тиши мечтает в первый раз
Пустить слезоточивый газ.

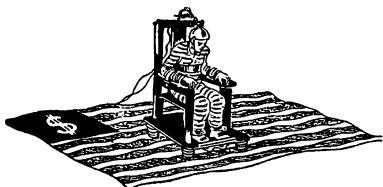
Еще идет сорок шестой,
И в мыслях о совсем другом,
Скользнув по едущим кругом,

¹ Французские партизаны.

Взгляд не угадывает мой,
Что этот выцветший старик,
Завернутый в не новый плед,
Окажется на склоне лет
Еще на старое горазд,
Войдет министром в кабинет
И снова Францию продаст;
Что этот потный господин,
Сидящий на своих вещах,
Вернувшись с багажом в Турин,
Вновь выслужится в палатах;
Что этот горбоносый хлыщ,
Который с пёсиком идет,
В Афинах вырежет пять тыщ
Людей — и глазом не моргнет;
Что этот...

Но довольно. Мы
Пока еще в сорок шестом,
И просто волны за бортом,
И просто, встретясь у кормы,
Плывут домой, побыв в гостях,
Старик, терзающийся качкой,
Сидящий на вещах толстяк
И долговязый грек с собачкой...

Нет одиночества сильней,
Чем ехать между дикарей.



УЛИЦА «САККО И ВАНЦЕТТИ»

— Ты помнишь, как наш город бушевал,
Как мы собрались в школе на рассвете,
Когда их суд в Бостоне убивал —
Антифашистов Сакко и Ванцетти;

Как всем фашистам отомстить за них
Мы мертвым слово пионеров дали
И в городке своем и в ста других
Их именами улицы назвали.

Давным-давно в приволжском городке
Табличку стерло, буквы откололо,

Стоит все так же там, на уголке,
На «Сакко и Ванцетти» наша школа.

Но бывшие ее ученики
В Берлине, на разбитом в пыль вокзале,
Не долго адрес школы вспоминали,
Углом вложили дымные листки
И «Сакко и Ванцетти» надписали.

Имперской канцелярии огнем
Недаром мы тот адрес освещали;
Два итальянских слова... Русский дом...
Нет, судьи из Америки едва ли
Дождутся, чтоб мы в городке своем
Ту улицу переименовали!

.

Я вспомнил об этом в Италии,
Когда, высоко над горами,
Мы ночью над ней пролетали,
Над первых восстаний кострами.
Будь живы они, по примете,
Повсюду, где зарева занялись,
Мы знали б, что Сакко с Ванцетти
Там в скалах уже партизанили!

И снова я вспомнил про это,
Узнав в полумертвом Берлине,

Что ночью в Италии где-то
Народом казнен Муссолини.
Когда б они жили на свете,
Всегда впереди, где опасней,
Наверно бы Сакко с Ванцетти
Его изловили для казни!

Я вспомнил об этом сегодня,
Когда в итальянской палате
Христьянский убийца и сводник
Стрелял в коммуниста Тольятти.
Нет, черному делу б не сбыться,
Будь там он в мгновения эти —
Наверно под локоть убийцу
Толкнул бы товарищ Ванцетти!

Предвидя живое их мужество,
Я в мертвых ошибся едва ли —
Ведь их перед будущим в ужасе
Назад двадцать лет убивали!
Ведь их для того и покруче
В Бостоне судили заранее,
Чтоб сами когда-нибудь дуче
Они не судили в Милане.
И на электрическом стуле
Затем их как раз и казнили,
Чтоб, будь они живы, от пули
Тольятти не заслонили.

.

У нас, коммунистов, хорошая память
На все, что творится на свете;
Напрасно убийца надеяться станет
За давностью быть не в ответе...
И сами еще мы здоровья стойкого,
И в школу идут по утрам наши дети
По улице Кирова,
Улице Войкова,
По улице «Сакко—Ванцетти».



БАЛЛАДА О ТРЕХ СОЛДАТАХ

Около монастыря Кассино
Подошли ко мне три блудных сына,

В курточках английского покроя,
Опаленных римскою жарою.

Прямо англичане — да и только,
Все различье — над плечами только

Буквы «Poland» вышиты побольше.
По-английски «Poland» значит — Польша.

Это — чтоб не спутать, чтобы знать,
Кого в бой перед собой толкать.

Посмотрели на мои погоны,
На звезду над козырьком зеленым,

Огляделись и меня спросили:
— Пан полковник, верно, из России?

— Нет,— сказал я,— я приехал с Вислы,
Где дымы от выстрелов повисли,

Где мы днем и ночью переправы
Под огнем наводим у Варшавы

И где бранным полем в бой идут поляки
Без нашивок «Poland» на английском
хаки.

И один спросил: — Ну, как там, дома?
И второй спросил: — Ну, как там, дома?

Третий только молча улыбнулся,
Словно к дому сердцем дотянулся.

— Будь вы там,— сказал я,— вы
могли бы
Видеть, как желтеют в рощах липы,

Как над Вислой чайки пролетают,
Как поляков матери встречают.

Только это вам неинтересно —
В Лондоне ваш дом, как мне известно,

Не над синей Вислой, а над рыжей
Темзой,
На английских скалах, вычищенных
пемзой.

Так сказал я им нарочно грубо.
От обиды дрогнули их губы.

И один сказал, что нету дольше
Силы в сердце жить вдали от Польши.

И второй сказал, что до рассвета
Каждой ночью думает про это.

Третий только молча улыбнулся
И сквозь хаки к сердцу прикоснулся.

Видно, это сердце к тем английским
скалам
Не прибить гвоздями будет генералам.

Офицер прошел щеголеватый,
Молча козырнули три солдата

И ушли под желтым его взглядом,
Обеспечены тройным нарядом.

В это время в своем штабе в Риме
Андерс с генералами своими

Составлял реляцию для Лондона:
Сколько польских душ им чорту продано,

Сколько их готово на скитания
За великобританское питание.

День считал и ночь считал подряд,
Присчитал и этих трех солдат.

Так, бывало, хитрый старшина
Получал на мертвых душ вина.

.

Около монастыря Кассино
Подошли ко мне три блудных сына,

Три давно уж в глубине души
Мертвые для Лондона души.

Где-нибудь в Варшаве или Познани
С ними еще встретиться не поздно нам.



НОЧНОЙ ПОЛЕТ

Мы летели над Словенией,
Через фронт, наперекрест,
Над ночным передвижением
Немцев, шедших на Триест.

Словно в доме перевернутом,
Так, что окна под тобой,
В люке, инеем подернутом,
Горы шли внизу гурьбой.

Я лежал на дне под буркою,
Словно в животе кита,

Слыша, как за переборкою
Леденеет высота.

Ночь была почти стеклянная,
Только выхлопов огонь,
Только трубка деревянная
Согревала мне ладонь.

Ровно сорок на термометре,
Замерзает ртути нить.
Где-то на шестом километре
Ни курить, ни говорить,

Тянет спать, как под сугробами,
И сквозь сон нельзя дышать,
Словно воздух весь испробован,
А другого негде взять.

Хорошо, наверно, летчикам:
Там, в кабине, кислород —
Ясно слышу, как клокочет он,
Как по трубкам он течет.

Чувствую по губ движению,
Как хочу их умолять,
Чтоб и мне, хоть на мгновение,
Дали трубку — подышать.

Чуть не при смерти влетаю я,
Сбив растаявшую слезу,
Прямо в море, в огни Италии,
Нарастающие внизу.

.

.

А утром просто пили чай
С домашнею черешнею
И кто-то бросил невзначай
Два слова про вчерашнее.

Чтобы не думать до зари,
Вчера решили с вечера:
Приборов в самолете три,
А нас в полете четверо;

Стакнулся с штурманом пилот
До вылета, заранее,
И кислород не брали в рот
Со мною за компанию.

Смеялся летный весь состав
Над этим приключением,
Ему по-русски не придав
Особого значения.

Сидели дачною семьей,
Московскими знакомыми,
Я и пилот и штурман мой
Под ветками с лимонами...

Двум сыновьям я пожелать
Хочу, как станут взрослыми,
Пусть не совсем того, что мать,—
Но в главном с ней сойдемся мы,—

Хочу им пожелать в боях
И странствиях рискованных
Богатства лишь в одном — в друзьях,
Вперед не приготовленных,

Таких, чтоб верность под огнем
И выручка соседская,
Таких, чтоб там, где вы втроем,
Четвертой — Власть Советская.

Таких, чтоб нежность — между дел,
И дружба не болтливая,
Таких, с какими там сидел
На берегу залива я.

Далеко мир. Далеко дом,
И Черное, и Балтика..
Лениво плещет за окном
Чужая Адриатика.



НЕМЕЦ

В Берлине, на холодной сцене,
Пел немец, раненный в Испании,
По обвинению в измене
Казненный за-глаза заранее,
Пять раз друзьями похороненный,
Пять раз гестапо провороненный,
То гримированный, то в тюрьмах
ломанный,
То вновь иголкой в стог оброненный.
Воскресший, бледный, как видение,
Стоял он, шрамом изуродованный,
Как документ сопротивления,

Вдруг в этом зале обнародованный.
Он пел в разрушенном Берлине
Всё, что когда-то пел в Испании,
Всё, что внутри, как в карантине,
Сидело в нем семь лет молчания.
Менялись оболочки тела,
Походки, паспорта и платья,
Но, молча душу сжав в объятья,
В нем песня еле слышно пела,
Она охрипла и болела,
Она в жару на досках билась,
Она в застенках огрубела
И в одиночках простудилась.
Она явилась в этом зале,
Где так давно ее не пели.
Одни, узнав ее, рыдали,
Другие глаз поднять не смели.
Над тем, кто предал ее на муки,
Она в молчанье постояла
И тихо положила руки
На плечи тех, кого узнала.
Все видели, она одета
Из-под Мадрида, прямо с фронта:
В плащ и кожанку с пистолетом
И тельманку с значком Рот Фронта.
А тот, кто пел ее, казалось,
Не пел ее, а шел в сраженье,
И пересохших губ движенье,
Как ветер боя, лиц касалось.

.
Мы шли с концерта с ним, усталым,
Обнявшись, как солдат с солдатом,
По тем разрушенным кварталам,
Где я шел в мае в сорок пятом.
Я с этим немцем шел, как с братом,
Шел длинным каменным кладбищем,
Недавно — взятым и проклятым,
Сегодня — просто пепелищем.
И я скорбел с ним, с немцем этим,
Что, в тюрьмы загнан и поборот,
Давно когда-то, в тридцать третьем,
Он не сумел спасти свой город.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОШИБКИ

Париж. Четырнадцатое июля.
В палату депутатов день назад
Опять Рейно и Даладье вернули,
И даже хлопали им, говорят,
Неистовствовали правые скамейки
И средние — до Блюма и семейки.
Так было во дворце вчера.
Ну, а на улице с утра
По праздничной жаре бульваров
Идут потомки коммунаров,
Идут Бельвилль и Сен-Дени,
Идут окраины Парижа.

Стою в пяти шагах и вижу,
Как голосуют тут они,
Как поднятыми кулаками
Салют Торезу отдают:
— За большинство не бойся! Тут
Оно, за левыми скамьями! —
По всей бульваров ширине
Идет Париж, ворча угрюмо:
— Рейно к стене!
— Даладые к стене!
— И к чорту Леона Блюма!

.

Леона Блюма? Вдруг я вспоминаю
Майданек, грязный, очень длинный двор,
Тряпье и пепел, серые сараи
И нестерпимый сотый разговор
О том, кого, когда и как сожгли
Вот в этой печи — вон она, вдали.
Вдруг двое из стоящих во дворе
Упоминают, что встречали Блюма
Здесь в прошлом августе, нет,
в сентябре.

— А что потом? — Как всех, сожгли без
шума.

Они описывают мне его.

Все сходится до удивленья быстро.

— Леона Блюма? — Да. — Того? — Того.

— Премьер-министра? — Да, премьер-
министра.

И я, к стене барака прислонясь,
Пишу о смерти Блюма телеграмму.
Майданек. Серый день. Зола и грязь.
Колючих проволок тройная рама.

Париж. Бушует солнце. Целый жгут
Лучей каштаны наискось пронзает.
Парижские окраины идут,
Живого Блюма громко проклинают.
Я был наивен. Он остался жив,
А я не понял, в смерть его поверя,
Что Гитлер, жизнь такую сохранив,
Открыл фашизму в будущее двери.
Ну, пусть не двери — все же щель
в дверях.

О, нет! Таких не морят в лагерях,
Не гонят в печь, не зарывают в ямах,
Таких не вешают, как нас — упрямых,
Таких не жгут, как — коммунистов — нас.
Таких спокойно копят про запас,
Чтоб вновь, как фокусник, в министры
прямо!

На случай вдруг проигранной войны
Такие им для Мюнхенов нужны,
А если дали в тюрьмах поскитаться им,
Так это только так — для репутации.
Какой-то сумасшедший мне солгал,
А я поверил! Да в своем уме ли я?

Что б мог сам Гитлер выдумать умелее,
Когда б в Париж он Блюма не послал?
Как хорошо стоять на мостовой
Парижа, зная, что сто тысяч рядом
Предателя уже проткнули взглядом!
А если так — чорт с ним, что он живой,
Когда по всей бульваров ширине
Весь день Париж идет, ворча угрюмо:
— Рейно к стене!
— Даладые к стене!
— И к чорту Леона Блюма!



РЕЧЬ МОЕГО ДРУГА САМЕДА ВУРГУНА НА ОБЕДЕ В ЛОНДОНЕ

Мой друг Самед Вургун, Баку
Покинув, прибыл в Лондон.
Бывает так — большевику
Вдруг надо съездить к лордам,
Увидеть двухпалатную
Британскую систему
И выслушать бесплатно там
Сто пять речей на тему
О том, как в тысяча... бог память
дай, в каком...
Здесь голову у короля срубили.
О том, как триста лет потом

Всё о свободе принимали билли
И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы,
Свободными до умиления
И их самих, и населения.

Мы это ровно месяц слушали,
Три раза в день в антрактах кушали
И терпеливо — делать нечего —
Вновь слушали с утра до вечера.
Так в край чужой как попадешь
С парламентским визитом,
С улыбкой вежливую ложь
В свои мозги грузи там.
Когда же нехватило нам
Терпения двужильного,
Самеду на обеде там
Взять слово предложили мы:

— Скажи им пару слов, Самед,
Испорти им, чертям, обед!

Волнение среди публики,
Скандал! Но как признаться-то?
— Сэр от какой республики?
— А сэр от всех шестнадцати.
— От всех от вас,
От имени?..

— От всех от нас,
Вот именно!

И вот поднялся сын Баку
Над хрусталем и фраками,
Над синими во всю щеку
Подагр фамильных знаками,
Над лордами, над гордыми
И Киплингом воспетыми,
В воротнички продетыми
Стареющими мордами,
Над старыми бутылками,
Над красными затылками,
Над белыми загривками
Полковников из Индии.
Не слыша слов обрывки их,
Самих почти не видя их,
Поднялся он и напролом
Сказал над замершим столом:

— Я представляю, сэры, здесь
Советскую державу.
Моя страна имеет честь
Входить в нее по праву
Союза истинных друзей,
Пожатья рук рабочих.
(Переведите поточней
Им, мистер переводчик.)

И хоть лежит моя страна
Над нефтью благодатною,
Из всех таких на мир одна
Она не подмандатная,
Вам под ноги не брошенная,
В ваш Сити не заложённая,
Из Дувра пароходами
Дотла не разворованная,
Индийскими свободами
В насмешку не дарованная,
Страна, действительно, моя
Давно вам бесполезная,
По долгу вежливости я
В чем вам и соболезнаю.

Так говорил Самед, мой друг,
А я смотрел на лица их:
Сначала был на них испуг,
Безмолвный вопль: «В полицию!»
Потом они пошли густым
Румянцем, вздувшим жилы,
Как будто этой речью к ним
Горчичник приложило.

Им бы не слушать этот спич,
Им палец бы к курку!
Им свой индийский взвить бы бич
Над этим — из Баку!
Плясать бы на его спине,

Хрустеть его костями,
А не сидеть здесь наравне
Со мной и с ним, с гостями,
Сидеть и слушать его речь
В бессилье идиотском,
Сидеть и знать: уже не сжечь,
В петле не сжать, живьем не съесть,
Не расстрелять, как Двадцать шесть
В песках за Красноводском...

Стоит мой друг над стаей волчьей,
Союзом братских рук храним,
Не слыша, как сам Сталин молча
Во время речи встал за ним.

Встал, и стоит, и улыбается —
Речь, очевидно, ему нравится.



НЕТ!

Отбыв пять лет, последним утром он
В тюремную контору приведен.

Там ждет его из Токио пакет,
Где в каждом пункте только «да» и
«нет».

Признал ли он божественность Микадо?
Клянется ль впредь не преступать закон?
И, наконец: свои былые взгляды
Согласен ли проклясть публично он?

Окно открыто. Лепестки от вишен
Летят в него, шепча, что спор излишен.
Тюремщик подал кисточку и тушь
И молча ждет — ловец усталых душ.

Но, от дыханья воли только вздрогнув,
Не глядя на летящий белый цвет,
Упрямый каторжник рисует: «Нет!» —
Спокойный, как железо, иероглиф.
Рисует. И уходит на пять лет.

И та же вновь тюремная контора,
И тот тюремщик — только постарел,
И те же вишни, лепесток с которых
На твой халат пять лет назад присел.

И тот же самый иероглиф: «Нет!»,
Который ты рисуешь раз в пять лет.

И до конца войны за две недели,
О чем, конечно, ты не можешь знать,
Ты и тюремщик — оба поседели —
В конторе той встречаетесь опять.

Твои виски белы, как вишен цвет,
Но той же черной тушью: «Нет» и «нет»!

.

Я увидел товарища Токуда
На митинге в токийских мастерских,
В пяти минутах от тюрьмы, откуда
Он вышел сквозь пятнадцать лет своих.
Он был неговорливый и спокойный,
Усталый лоб, упрямый рот,
Пиджак, в который, разбросав
конвойных,

Его одели прямо у ворот,
И шарф на шее, старый, шерстяной,
Повязанный рабочею рукой.

Наверно, он в минуту покушенья,
Всё в тот же самый свой пиджак одет,
Врагам бросал все то же слово: — Нет!
Нет! Нет! И нет! —
Как все пятнадцать лет
От заключенья до освобожденья.
И смерть пошла у ног его кружить
Не просто прихотью безумца злого,
А чтоб убить с ним вместе это слово —
Как будто можно Коммунизм убить.



ЗИМНИЙ

Я уезжал наутро, чуть заря,
Из той деревни севернее Токио,
Где я провел три зимние, жестокие
Дождливые недели февраля.

День прошагав вдоль рисовых полей,
Я вечером, с приливами, с отливами,
Вел длинный разговор с неторопливыми
Крестьянами над горсткою углей.

Дом, где я жил, был лишь условный знак
Жилья. Бумажный иероглиф бедности.

И дождь и солнце в предзакатной
медности
Его насквозь пронзали, просто так.

Снег пополам с дождем кропил поля,
И, с нестерпимой нищенской привычкою
В квадратики размерянная спичкою,
В слезах лежала мокрая земля.

Хозяин дома говорил о ней,
Исползанной коленями, исхоженной,
Заложенной, налогами обложенной,
И всё — за чашку риса на пять дней.

А в заключение землю вспомнил он,
Где все уже навеки переменено,
Где я, вернувшись, Сталину и Ленину
От их деревни передам поклон.

Каков же революции порыв,
Куда достиг бессмертной силы ток ее,
Чтоб здесь, в деревне севернее Токио,
Был Сталин чтим и Ленин еще жив!

Из медных трубок выпуская дым,
Крестьяне замолчали от волнения,
И наступило странное мгновение,

Когда я вдруг почувствовал, что им
Всё, всё ещё, бесспорно, предстоит:
«Аврора», бой среди рассвета дымного
И взятие императорского Зимнего —
Того, что в центре Токио стоит!



ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА В МАЙДЗУРЕ

Бухта Майдзура. Снег и чайки
С неба наискось вылетают,
И барашков белые стайки
Стайки птиц на себе качают.

Бухта длинная и кривая,
Каждый звук в ней долгод и гулок,
Словно в каменный переулок,
Я на лодке в нее врываю.

Эхо десять раз прогрохочет,
Но еще умирать не хочет,

Словно долгая жизнь людская
Все еще шумит, затихая.

А потом тишина такая,
Будто слышно с далекой кручи,
Как, друг друга под бок толкая,
Под водой проплывают тучи.

Небо цвета пепла, а горы
Цвета чуть разведенной туши.
Надоели чужие споры,
Надоели чужие уши.

Надоел лейтенант О'Квисли
Из разведывательной службы,
Под предлогом солдатской дружбы
Выясняющий наши мысли.

Он нас бьет по плечам руками,
Хвалит русские папиросы
И, считая всех дураками,
День-деньской задает вопросы.

Утомительное условие —
Каждый день, вот уже полгода,
Пить с разведчиком за здоровье
«Представляемого им народа».

До безумия осточертело
Делать это с наивным видом,
Но О'Квисли душой и телом
Всем нам предан. Вернее, придан.

Он нас будет травить вниманьем
До отплытия парохода
И в последний раз с содроганьем
Улыбнется нам через воду.

Бухта Майдзура. Птичьи крики,
Снег над грифельными горами,
Мачты, выставленные, как пики,
Над японскими крейсерами.

И немецкая субмарина,
Обогнувшая шар когда-то,
Чтоб в последние дни Берлина
Привезти сюда дипломата.

Волны, как усталые руки,
Тихо шлепают в ее люки.

Где теперь вы, наш провожатый,
Джемс О'Квисли, наш добрый гений,
Славный малый и аккуратный
Собиратель всех наших мнений?

Как бы, верно, вас удивила
Моя клятва спустя два года,
Что мне видеть там нужно было
Просто небо и просто воду,
Просто пасмурную погоду,
Просто северную природу,
Просто снега хлопья косые,
Мне напомнившие Россию.
Угадав этот частный случай,
Чем скитаться со мною в паре,
Вы могли бы гораздо лучше
Провести свое время в баре.

Ну, а в общем-то — дело скверно,
Успокаивать вас не буду:
Коммунизм победит повсюду!
Вы тревожьтесь! Это вы верно!



В КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ КЛУБЕ

Опять в газетах пишут о войне,
Опять ругают русских и Россию,
И переводчик переводит мне
С чужим акцентом их слова чужие.

Китайский журналист, прохвост из
«Нанкин Ньюс»,
Идет ко мне с бутылкою; наверно,
В душе мечтает, что я вдруг напьюсь
И что-нибудь скажу о «кознях
Коминтерна».

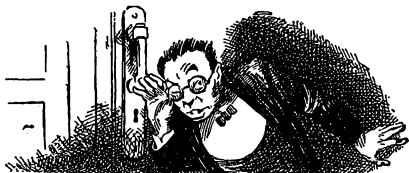
Потом он сам напьется и уйдет.
Все как вчера. Терпенье, брат, терпенье!
Дождь выступает на стекле, как пот,
И стонет паровое отопление.

Что ж мне сказать тебе, пока сюда
Он до меня с бутылкой не добрался?
Что я люблю тебя? — Да.
Что тоскую? — Да.
Что тщетно я не тосковать старался?

Да. Если женщину уже не ранней
страстью
Ты держишь спутницей своей души,
Не легкостью чудес, а трудной старой
властью,
Где чтоб вдвоем навек — все средства
хороши,

Когда она — не просто ожиданье
Чего-то, что еще, быть может, вздор,
А всех разлук и встреч чередованье,
За жизнь мою любви с войною спор,

Тогда разлука с ней совсем трудна,
Платочком ей ты не помашешь
с борта,
Осколком родины в груди сидит она,
Всегда готовая задеть аорту.



ДОМ НА ПЕРЕДОВОЙ

Уже японских ползимы
В корреспондентском клубе мы

Живем, почти как дипломаты,
Живем, обложенные ватой

Чужих вопросов и речей,
Чужих опасных мелочей

И, ждущих от тебя ошибок,
Чужих внимательных улыбок.

Смертельно вежливым огнем
Окружены мы день за днем.

Зато я снюсь себе ночами
С мешком и скаткой за плечами,

Покинув этот чортов дом,
Я обхожу весь мир пешком.

Похожий на тире и точки,
Звук дальней пулеметной строчки

Почти неслышною рукой
Меня ведет туда, где бой,

Туда, где, землю огибая,
В дыму идет передовая.

Начавшись у воды в упор,
Она идет меж рыжих гор,

И вьется из-за Пиренеев
Пороховой дымок над нею.

Она идет через Париж
Траншеей меж домов и крыш,

Безмолвно, но неотвратимо,
Проходит посредине Рима

И с «Партизанской» на устах
Гремит на греческих холмах.

То вся в огне, в аду, то в дымке,
То на виду, то невидимкой,

То в свисте бомб и громе танков,
То в катакомбах и землянках,

Она идет сквозь сорок стран —
То молча, то под барабан,

Под «Марсельезу» с «Варшавянкой»,
Под «Пролетарии всех стран!»

Теряясь, но не пропадая,
Она идет к полям Китая,

Туда, где на передовой
Сейчас всего слышнее бой.

К земле прикладывая ухо,
Я приближаюсь к ней по слуху,

За ночью ночь иду туда,
Где в вспышках горная гряда,

Где на дороги ледяные
В бессмертье падают живые

И, душу придержав рукой,
Дают посмертный выстрел свой.

Идет, идет передовая
Через жару и снег Китая.

Она, как битва под Москвой,
Владеет всей моей душой.

Она проходит под паркетом
Всех комнат даже в доме этом,

Где месяц мы едим и пьем
С врагами за одним столом;

Через беседы и обеды,
Через вопросы и ответы,

Стол разрубая пополам,
Она проходит по пятам,

Вдруг о себе напоминая
То журналистом из Шанхая,

Который врет про вас везде,
Что он вас видел у Чжу-Дэ,

То шпиком, лезущим в доверье,
То ухом в скважине за дверью,

То в чемодане под замком
Вдруг перевернутым бельем.

Когда-нибудь, когда нас спросят
Друзья: откуда эта проседь?

Мы вспомним дом, где той зимой
Мы жили на передовой.



КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Полночь бьет над Спасскими воротами,
Хорошо, уставши кочевать
И обветрясь всякими широтами,
Снова в центре мира постоять.

Прилетев надолго, окончательно,
Из десятой за пять лет страны,
Если бы кто знал — как замечательно
Помолчать здесь ночью у стены.

Чтобы не видениями прошлыми
Шла она в зажмуренных глазах,
А вот просто — камни под подошвами,
Просто — видеть стрелки на часах,

Просто знать, что в этом самом здании,
Где над круглым куполом игла,
Сталин вот сейчас, на заседании,
По привычке ходит вдоль стола.

Пусть все это строчками стоустыми
Кто-то до меня успел сказать,—
Видно, в этом так сошлись мы
чувствами,
Что мне слов других не подобрать.

Словно цоканье далекой лошади,
Бьет по крышам теплый летний дождь
И лениво хлопает по площади
Тысячами маленьких ладош;

Но сквозь этот легкий шум мне слышится
Звук шагов незримых за спиной,—
Это все, кому здесь легче дышится,
Собрались, пройдя весь шар земной.

Нам-то просто — сесть в метро от
Курского

Или прилететь из Кушки даже.
Им оттуда ехать, где и русского
Слова «Ленин» без тюрьмы не скажешь.

Им оттуда ехать, где — в полицию
Просто за рисунок мавзолея,
Где на камни кровь должна пролиться их,
Чтобы вскинуть флаг, что здесь алеет.

Им оттуда ехать, где в Батавни
Их живыми в землю зарывают,
Им оттуда ехать, где в Италии
В них в дверях парламента стреляют.

Им оттуда ехать всем немисливо,
Даже если храбрым путь не страшен,—
Там дела у них, и только мыслями
Сходятся они у этих башен.

Там, вдали, их руки за работою,
И не видно издали лица их,
Но в двенадцать Спасскими воротами
На свиданье входят в Кремль сердца их.

Может быть, поэтому так поздно
В окнах свет в Кремле горит ночами?
Может быть, поэтому так грозно
На весь мир мы говорим с врагами!

СОДЕРЖАНИЕ

Митинг в Канаде	1
Красное и белое	4
Тигр	8
Три точки	11
Дикари	15
Улица „Сакко и Ванцетти“	18
Баллада о трех солдатах	22
Ночной полет	26
Немец	30
История одной ошибки	33
Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне	37
Нет!	42
Зимний	45
Военно-морская база в Майдзуре	48
В корреспондентском клубе	52
Дом на передовой	55
Красная площадь	60

Техн. редактор *Ю. Гончаренко*. Корректор *А. Шабалова*.

Г13442. Объем 2 п. л. Подписано к печати 20.VI.49.

Отпечатано в тип. М 306 с матриц
1-й тип. Управления Военного Издательства МВС СССР
имени С. К. Тимошенко.

Цена 50 коп.